

БОРИС КРИГЕР



ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ

БОРИС КРИГЕР

ПРЕЗУМЦИЯ
ВИНЫ



© 2025 Boris Kriger

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from both the copyright owner and the publisher.

Requests for permission to make copies of any part of this work should be e-mailed to kriegerbruce@gmail.com

Published in Canada by Altaspera Publishing & Literary Agency Inc.

Презумпция вины

Перед вами честный и болезненный разговор о том, как обвинение превращается в способ власти, подавления и саморазрушения, начиная от масштабов государства и истории и заканчивая самыми личными, интимными отношениями. Здесь речь идёт не только о правовых системах, но прежде всего о привычке судить друг друга и самих себя, о том, как легко обвинение проникает в семью, в дружбу, в любовь, убивая доверие и закрывая путь к пониманию. Особое внимание уделено тому, как чужие суждения становятся голосом внутри, как вина, навязанная извне, медленно превращается в самообвинение, лишая человека способности прощать себя и рasti. Это размыщение о том, как суд без доказательств, привычка навешивать ярлыки и искать виноватого вместо смысла становится универсальным языком современности — от политики до личной жизни. И это одновременно призыв — научиться видеть другого не через вину, а через возможность перемены, отказаться от обвинения как способа мысли, чтобы дать место свободе, любви и прощению.

ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ

Когда в человеческой душе постепенно утверждается мысль, что человек, прежде чем доказать собственную правоту, обязан сначала отмыться от навязанных подозрений, то сама истина начинает отступать, уступая место полумраку подозрительности и страха, словно солнце скрывается за свинцовыми облаками, оставляя землю в сером ожидании бури.

И стоит лишь однажды дать этому зловещему семени прорости в сердцах, как начинается повсеместное разложение доверия, поскольку человек перестаёт видеть в другом равного себе, способного на правду, и напротив, начинает взирать с постоянной тревогой, подспудно ожидая коварства, затаённого злого умысла, предательства, заговора. В такой атмосфере каждый шаг, каждое слово, всякий поступок окрашиваются в неестественные тона опасения, когда не поступок требует доказательств, а личность сама по себе становится обвиняемой только потому, что осмелилась существовать среди прочих.

Это незаметное для многих извращение справедливости не рождается внезапно, не возникает, подобно молнии, рассекающей безоблачное небо. Оно медленно, почти ласково просачивается в обыденность, облекается в оправдательные речи о бдительности, о необходимости предосторожности, о защите общества от мнимых опасностей, до тех пор, пока сама мысль о человеческом достоинстве не превращается в пустой звук, лишённый силы, утративший прежнее живое содержание. И чем

глубже врастает эта отрава в сознание, тем легче становится подменить сострадание жестокостью, благоразумие — подозрительностью, справедливость — обвинительным ритуалом, где факт невиновности воспринимается скорее как досадное исключение, чем как естественное состояние.

В подобной среде неизбежно крепнет привычка судить прежде, чем услышать, отвергать, не пытаясь понять, заклеймить, не дав шанса на слово. И уже не преступник ищется судом, но каждый человек, оказавшись в чём-либо поле зрения, вынужден заранее оправдываться, заранее унижаться перед лицом холодного обвиняющего взгляда, который сам по себе становится вершителем судеб, не зная ни милости, ни терпения, ни справедливого сомнения.

Мир чаще встречает человека настороженным взглядом, предпочитая считать его соперником, а не товарищем по пути. В каждом движении незнакомца легко усмотреть угрозу, в каждом слове — скрытую ложь, ведь страх перед неизвестным глубоко укоренён в человеческой природе. Сомнение возникает прежде доверия, а предубеждение опережает желание понять. Будто ожидая удара, прежде чем предложить руку, общество возводит стены из подозрений, скрываясь за холодной учтивостью и заранее примеряя маску недоверия. Гораздо проще увидеть в другом источник опасности, чем признать в нём такого же странника, несущего свою боль, тревоги и надежды. Там, где могло бы родиться сочувствие, часто пробуждается лишь настороженность, а место для доброго слова уступает резкому суждению.

И только редкие попытки всмотреться глубже открывают истину: за непонятной оболочкой скрывается не враг, но человек, столь же уязвимый, столь же ищущий тепла и понимания.

Подозрение возникает легче, чем доверие, потому что оно питается страхом и служит ему щитом. Недоверие становится удобной бронёй, позволяя сохранять дистанцию и избегать риска, который всегда сопутствует открытости. Оно словно строит вокруг души невидимую крепость, за стенами которой можно укрыться от возможной боли, от предательства, от разочарования. Доверие же требует усилия, оно обнажает и делает уязвимым, заставляя выходить из безопасного укрытия навстречу неопределённости. Чтобы решиться поверить, необходимо преодолеть внутренний голос, упорно нашёптывающий предостережения, ведь страх всегда подсказывает, что лучше ожидать худшего, чем надеяться на лучшее. Подозрение даёт иллюзию контроля, словно позволяя заранее предвидеть удар и избежать его, тогда как доверие предлагает иной путь — идти навстречу неведомому, принимая возможность боли как неизбежную часть любого подлинного общения. Именно поэтому страх так легко подпитывает подозрительность, находя в ней удобный способ сохранить мнимую безопасность, не рискуя шагнуть навстречу искренности.

Вина легко становится клеймом, которое удобно использовать для подчинения и отстранения. Объявляя кого-то виновным, общество как будто получает право отвернуться, замкнуться, перестать слушать и вникать. Под этим ярлыком человек лишается голоса, превращается в удобную мишень для презрения и осуждения, теряя возможность оправдаться или быть понятым. Часто обвинение оказывается не результатом справедливого разбирательства, а скорее способом избавиться от неудобного, снять с себя ответственность за попытку разобраться глубже. В этом механизме обвинение не требует доказательств, достаточно подозрения, достаточно слуха, достаточно укоренившегося предубеждения, чтобы приговор был вынесен задолго до любого суда.

И когда невинный получает этот ярлык, когда его вынуждают нести чужое обвинение, не оставляя шанса на очищение имени, наступает момент, когда возникает горькое чувство бессмыслицы борьбы. Если обвинённый осознаёт, что все равно обречён, что любые попытки оправдаться остаются без ответа, рождается искушение сыграть ту роль, в которую его так старательно загоняют. Глупо пытаться быть чистым, когда мир уже отказал в праве на честность, когда клеймо нанесено, и все двери захлопнуты. Тогда обвинение, не имея под собой почвы, само становится причиной того поступка, которого изначально не было. Отчаяние, отвергнутость, изоляция медленно подталкивают к тому, чего человек прежде не замышлял, потому что нет большего унижения, чем быть навечно заключённым в клетку чужого подозрения, не имея

выхода из неё.

Там, где отвергается презумпция невиновности, исчезает сама почва для свободы, ведь без этого основополагающего принципа любое право становится лишь видимостью, а суд превращается в орудие произвола. Невиновность до доказательства обратного — не жест добной воли, не снисходительный дар власти, но несокрушимый камень в основании справедливого порядка. Этот принцип не принадлежит правителям, он не может быть отменён по их прихоти, поскольку именно он разделяет справедливость от самоуправства, закон от расправы, суд от линча.

Вся тяжесть доказательства вины лежит на тех, кто обвиняет. Именно обвиняющий несёт обязанность предъявить доказательства, тогда как обвиняемый не обязан доказывать свою чистоту, ибо в противном случае обвинение становится ловушкой, из которой нет выхода. Там, где обвиняемый вынужден оправдываться перед лицом пустых слов, возникает тирания подозрения, подменяющая истину догадками.

Справедливый суд держится на строгом различении между личной оценкой и доказанным фактом. Мнение, предчувствие, слух, предвзятость — всё это не имеет права влиять на решение, пока не будет представлено то, что подчиняется логике и подтверждается доказательством. Именно разрыв между чувством и знанием удерживает суд от скатывания в беспощадную и субъективную расправу.

Там, где презумпция невиновности отвергнута, власть теряет легитимность и становится лишь грубой силой, решающей судьбы по воле случая или капризу сильнейшего. Отказ от этого принципа разрушает границу между законом и насилием, превращая правосудие в удобное прикрытие для мести, страха или желания унизить. Без этого рубежа любое обвинение оборачивается приговором, а любое несогласие — преступлением. Свобода исчезает не в тот миг, когда сажают в темницу, но в тот, когда право на защиту заменяется обязанностью оправдываться перед слепой яростью толпы или прихотью власти.

В повседневной близости, в семьях, среди друзей, в тех пространствах, где, казалось бы, должно царить доверие, обвинения часто звучат быстрее всякого разбирательства, не оставляя места для сомнений, не давая возможности быть услышанным. Там, где нет формального суда, где нет обязательства предъявлять доказательства, приговоры выносятся на основании чувств, боли и разочарований, превращая любимого человека в виновного без шанса на оправдание. Самая тонкая, самая хрупкая ткань отношений оказывается разорвана именно в эти минуты, когда обида становится весомей справедливости, а страх быть покинутым или преданным подталкивает к обвинению ещё прежде попытки понять.

Очень часто за словами упрёка и за вспышкой подозрения скрывается не желание узнать правду, но

стремление защитить собственную раненую душу. Обвиняя близкого, человек как будто укрывается от своей уязвимости, перекладывает боль на другого, превращая свою рану в его вину. Легче поверить, что любимый обидел намеренно, чем признать собственное бессилие перед страхом потерять, легче указать пальцем, чем всмотреться в собственную тревогу и назвать её вслух. Такое обвинение становится не актом справедливости, а попыткой оправдать собственное страдание, словно причинённая боль обретает смысл, если в ней можно найти виноватого.

В этих судах без правил обвинения не требуют подтверждений, достаточно обиды, достаточно страха, чтобы выстроить целую систему доказательств из намёков, догадок и недосказанностей. И чем ближе человек, тем опаснее становится это обвинение, потому что именно доверие, оказавшись сломленным, рождает самые горькие приговоры. Там, где прежде жила близость, вдруг возникает пустота, заполненная взаимными подозрениями, где ни объяснения, ни оправдания уже не имеют силы, потому что сердечный судья давно вынес свой приговор.

Подозрение,пущенное в ход прежде слов, прежде желания услышать и понять, становится тем предательством, которое разрушает отношения ещё до всякого проступка, задолго до того, как может произойти реальная измена или обида. Оно медленно, но неизбежно подтачивает основание доверия, отравляя каждое прикосновение, каждую попытку быть рядом. Там, где поселилось подозрение, любовь начинает превращаться

в настороженность, внимание сменяется настойчивым контролем, а забота оборачивается слежкой и ожиданием подвоха. В этом ядовитом пространстве любой жест истолковывается в худшем свете, любое слово становится поводом для новых догадок, пока молчаливое обвинение не вырастает в глухую стену, отделяющую даже самых близких.

Подозрение предаёт не в тот момент, когда подтверждается вина, но именно тогда, когда ещё ничего не случилось, когда другого уже видят виноватым просто за то, что он мог бы поступить дурно. Это предательство опаснее любого поступка, потому что оно не даёт места для веры, не оставляет простора для честности, загоняет отношения в ловушку страха и оправданий, где нет больше свободы быть самим собой.

Если отказаться от этого внутреннего суда, если остановить в себе стремление судить, не вынося приговора поспешно, тогда исчезает сама почва для вины. Остаётся лишь факт, событие, поступок, который можно принять, понять или

Мораль, будучи призвана оберегать достоинство и жизнь, нередко оборачивается самой изощрённой формой насилия, становясь удобным орудием для обвинения и преследования. Именно там, где звучат слова о «высшем благе», чаще всего вырастают самые жестокие суды, потому что под прикрытием правильности открывается простор для оправдания любой жестокости, любого исключения. Когда человек

говорит: «Я знаю, как должно», за этим знанием нередко скрывается не мудрость, а стремление к власти, желание подчинить других собственному представлению о добрे и зле.

Обвинение, основанное на моральных убеждениях, оказывается особенно трудно преодолимым, потому что оно не требует доказательств — достаточно уверенности в собственной правоте. Там, где спор мог бы идти о поступке, разговор сразу переносится в область оценок, в пространство, где обвиняемый не просто совершил ошибку, а нарушил священный порядок, предал не только другого человека, но и саму идею правильного. Такой подход не оставляет пути к прощению, поскольку любой шаг, не совпадающий с навязанной истиной, воспринимается не как выбор, а как преступление против «правильного мира».

В этой ловушке мораль перестаёт быть личным ориентиром, превращаясь в оружие, направленное на другого. Чем ярче вера в своё знание истины, тем легче разрешить себе преследовать, унижать, изгонять, оправдывая это заботой о благополучии или необходимости наставить на путь истины. Здесь гонения обретают оправдание, становятся не гневом, а будто бы проявлением любви, не жестокостью, а долгом. Под фразой «я знаю, как правильно» исчезает человек с его сложностью, страхами, сомнениями, остаётся лишь образ нарушителя, который заслуживает наказания ради утверждения порядка.

Мораль, вырванная из личной ответственности и превращённая в догму, легко перестаёт быть путеводной нитью и становится кнутом, позволяющим судить не за поступок, а за сам факт отличия, истребляя всякую возможность иного взгляда, иной правды, иной жизни.

Нет человека, которому было бы дано право становиться судьёй чужой души, потому что всё, что скрыто в сердце другого, остаётся недоступным взгляду со стороны. Суждения, произнесённые о том, что не может быть полноценно понято, всегда остаются искажёнными, поскольку никто не способен заглянуть до конца в чужую боль, в сомнения, в тот внутренний путь, который привёл к поступку. Там, где берут на себя смелость судить не действия, но самого человека, там неизбежно разрушается пространство для перемен, для осознания, для искреннего раскаяния.

Осуждение запирает человека в образе виновного, не позволяя ему быть кем-то ещё, кроме носителя вины. Вместо того чтобы открывать возможность пересмотра и изменения, оно вдавливает в роль преступника, делая раскаяние бессмысленным, потому что никакое покаяние уже не в силах изменить вынесённый приговор. Там, где звучит бесповоротное осуждение, исчезает шанс на диалог, на понимание, на путь назад, ибо приговор превращается в клеймо, которое нельзя смыть, сколько бы ни было совершено добрых дел после.

Истинный рост требует пространства для ошибки и возможности пройти через неё, извлекая из падения

опыт, а не навсегда оставаться прикованным к вину. Признание неправоты становится возможным лишь тогда, когда не уничтожается надежда быть услышанным и принятым после признания. Если же на каждый шаг навстречу следует лишь новый упрёк, если любое раскаяние встречается жесткостью и холодом, то смысл меняться утрачивается, уступая место отчаянию и озлоблению.

Осуждая душу, лишают человека будущего, заставляя жить только в прошлом, в совершённой ошибке, в закреплённой за ним роли. Суд над душой никогда не бывает справедливым, потому что он отказывается учитывать главное — способность человека меняться, способность учиться, способность пережить своё заблуждение и выйти из него другим. Именно это делает любое осуждение тупиком, в котором закрываются двери, где не остаётся пути к искуплению, а вместе с ним исчезает и возможность подлинного обновления.

Если суд призван вершить правосудие, то он имеет право касаться лишь поступков, но никогда не самой сущности человека. В самом основании закона лежит различие между деянием и личностью, и там, где это различие стирается, начинается произвол. Ошибка, даже самая тяжёлая, не равна преступлению, поскольку ошибка рождается из неведения, из слабости, из человеческой ограниченности, тогда как преступление требует воли к злу, требует намерения причинить вред. Смешивая эти понятия, общество не только утрачивает меру, но и допускает несправедливость, подменяя разбор действий судом над самой личностью.

Всякое наказание, оторванное от реальной вины, перестаёт быть правом, становясь формой насилия. Но и само по себе наказание остаётся насилием даже тогда, когда оно оправдано нарушением закона, ведь оно всегда содержит в себе принуждение, отказ в свободе, применение силы. Это насилие признаётся допустимым только в пределах строгой необходимости, только в том случае, если оно не выходит за границы конкретного поступка, не вторгается в пространство самого человека как существа, не навешивает на него вечного ярлыка.

Именно здесь, в этой хрупкой грани между правом и личным чувством, возникает опасность смешения чужого взгляда с буквой закона. Там, где судья, оставаясь человеком, позволяет своим чувствам проникнуть в меру наказания, где личное отношение затмевает беспристрастие, суд перестаёт быть местом справедливости и превращается в арену мести или страха. Ни один человек, наделённый властью судить, не может быть свободен от собственного опыта, от предрассудков, от боли или пристрастия, и потому сама идея беспристрастности остаётся скорее высокой задачей, чем достижимым состоянием.

И когда личное начинает проникать в правовое, когда судья позволяет себе не только разбирать поступок, но и оценивать душу того, кто стоит перед ним, рождается несправедливость, противоречащая самому смыслу закона. Ведь закон, если он вообще имеет право на существование, служит не выражению эмоций и не

отголоску личной боли, но попытке удержать общество от скатывания в самосуд, в стихийное возмездие, в бесконтрольное насилие, прикрытое словами о праве. Суд становится возможным только там, где есть граница между деянием и человеком, между нарушением и самим существом, между фактом и оценкой. И каждый раз, когда эта граница размывается, под видом закона начинает действовать лишь сила, лишённая оправдания.

Моя другая книга «Разочарование в правосудии» — не просто размышление о несовершенстве судебных механизмов, не свод критических замечаний к процедурам или институциям. Это попытка честно, без попыток самоутешения, проговорить то глубокое разочарование, которое рождается, когда сталкиваешься с системой, призванной быть опорой справедливости, но становящейся орудием насилия, лицемерия и пустых ритуалов. Там речь идёт не только о внешнем устройстве судов, не столько о формальных принципах, сколько о внутреннем кризисе самого смысла правосудия, о той трещине, что пролегает между словом и делом, между обещанием закона и тем, как это обещание превращается в фикцию.

Когда утверждается равенство перед законом, но ежедневно подтверждается обратное; когда произносятся речи о презумпции невиновности, а на деле обвинение звучит громче всякой защиты; когда независимость судей декларируется как священное условие правопорядка, но решения их подчинены не совести, а страху, политике или личной выгоде — возникает не просто нарушение норм, возникает утрата

смысла этих норм. Они перестают быть живыми идеями, служащими ориентиром, и превращаются в пустые формулы, повторяемые для видимости, для оправдания самой системы перед собой.

Но страшнее всего то, что и сами эти принципы, задолго до своего нарушения, уже потеряли подлинное содержание. Подменённые процедурой, выхолощенные многократным использованием ради удобства, они больше не способны нести ту смысловую нагрузку, ради которой были рождены. Равенство перед законом перестаёт означать равенство человеческого достоинства. Справедливость сужается до набора формальных действий, не имеющих отношения к живому страданию. Презумпция невиновности звучит как цитата из учебника, не влияя ни на ход процесса, ни на восприятие обвиняемого обществом. Каждое из этих слов — будто старая вывеска, поблёкшая от солнца и дождя, под которой уже давно нет того дома, который она обозначала.

Разочарование в правосудии — не каприз и не поза. Это болезненное осознание: не только практика не соответствует заявленным принципам, но и сами принципы давно лишились силы, растворились в ритуальных повторениях, перестали быть живой этической тканью права. Отсюда возникает та самая внутренняя пустота, тот правовой нигилизм, который растёт не на почве беззакония, а как раз из бессилия поверить в справедливость закона, из многократного опыта, когда каждое великое слово оказывается всего лишь оболочкой, не скрывающей под собой ничего,

кроме желания сохранить видимость порядка.

Моя книга — не попытка предложить реформу, не стремление нарисовать новый проект устройства судов. Это признание боли, которая рождается в человеке, когда правосудие теряет лицо, когда вместо судьи встаёт чиновник, вместо закона — произвол, вместо справедливости — равнодушная процедура. Это голос свидетеля, для которого разочарование стало не эпизодом, но неизбежной частью личного опыта столкновения с тем, что должно было быть опорой, но обернулось стеной.

Обвинение, брошенное в лицо без доказательств, со временем проникает вглубь человека, медленно превращаясь из внешнего ярлыка в часть внутреннего образа себя. Там, где отсутствует возможность защититься, где оправдания никто не слушает или где защита оказывается заведомо бесполезной, возникает особая форма внутреннего согласия с навязанной виной. Постепенно внушённое снаружи начинает восприниматься как нечто собственное, как подтверждённая истина, даже если разум продолжает сопротивляться. Это согласие не приходит сразу — оно накапливается под тяжестью повторяющихся обвинений, под постоянным взглядом, полным сомнения, под недоверием, ставшим привычной средой обитания.

Когда обвинение не оставляет человеку пространства для оправдания, оно не просто унижает, оно медленно

разрушает личность, внедряя в самую глубину сознания ощущение собственной ущербности. Человек начинает жить так, будто действительно виноват, даже если вины не было. Он перестаёт доверять себе, сомневается в своих мотивах, в собственных мыслях, в праве на чистоту намерений. Это внутреннее разложение опаснее любого внешнего наказания, потому что оно превращает саму личность в поле постоянной внутренней травли. Самообвинение, однажды посеванное чужим словом, пускает корни, захватывая не только поступки, но и саму способность к самоощущению.

Такое самообвинение не даёт роста, не приводит к исправлению, не становится стимулом к переменам. Напротив, оно погружает в бесконечный круг саморазрушения, где любое действие рассматривается через призму собственной дефектности. В этом состоянии признание права на ошибку становится невозможным, потому что за каждой ошибкой видится не случайность, не слабость, не человеческая ограниченность, а подтверждение глубинной испорченности, вечной вины, которую невозможно искупить. И тогда любое прощение — как внешнее, так и внутреннее — утрачивает смысл, ведь раскаяние предполагает свободу, а обвинение, ставшее самосознанием, эту свободу отнимает.

Вина, пришедшая не из признания, а навязанная чужим взглядом, чужим словом, лишает человека права на собственную правду. Она подменяет личный опыт вынесенным суждением, которое постепенно занимает место внутреннего голоса, превращая мысль о себе в

непрерывный внутренний суд. Именно в этом заключена главная разрушительная сила навязанного обвинения: оно не оставляет пространства для искреннего покаяния, потому что вместо признания своих ошибок остаётся только бесконечное самобичевание — не способ стать лучше, а способ навсегда утвердиться в роли виновного.

Настоящее освобождение начинается с различия между голосом собственной совести и чужим, часто безосновательным суждением, которое стремится занять место этого голоса. Легко спутать чужие обвинения с внутренним нравственным откликом, особенно когда эти обвинения звучат настойчиво, когда повторяются годами, когда исходят от тех, кому было доверено право быть рядом. Но совесть, в отличие от навязанных суждений, никогда не говорит языком ярлыков, не требует унижать себя, не навешивает вечного клейма. Её природа иная — она обращается не к страху, а к ответственности, не к самоуничтожению, а к пониманию.

Там, где чужое мнение захватывает внутреннее пространство, где вместо вопроса «что я сделал?» остаётся только утверждение «я — плохой», исчезает возможность услышать собственную совесть. Вместо её тихого и честного голоса звучит только навязанное обвинение, лишающее человека права на размышление, на взвешивание, на искреннее признание или оправдание. И пока это различие не осознано, прощение себя остаётся невозможным, потому что чужое суждение требует не раскаяния, а самоуничтожения, требует не понимания, а признания собственной ничтожности.

Прощать себя можно только тогда, когда остаётся право быть услышанным самим собой, когда вина не превращена в навязанную роль, а остаётся результатом собственного выбора признать или отвергнуть поступок. Там, где человеку не оставляют этого выбора, где вина вручается ему как готовая истина, не спрашивая, есть ли в ней место для правды, любое прощение оказывается подменено вынужденным смирением, не несущим облегчения.

Различая, где заканчивается совесть и начинается чужое осуждение, человек возвращает себе возможность жить не под гнётом постоянного внутреннего обвинителя, но рядом с собственным сознанием, умеющим признавать ошибки, но не превращать их в вечное клеймо. Только здесь, в этом различении, возможно подлинное прощение себя — не как поблажка, не как попытка забыть, но как акт честного примирения с тем, что было, и с тем, кем остаётся человек, сохранивший право на исправление и на уважение к собственной душе.

Обвинить любого человека в чём угодно — задача куда проще, чем доказать правду. Для этого не требуется ни фактов, ни достоверных свидетельств, достаточно создать правильную атмосферу, запустить нужное слово в нужное пространство. Всё остальное сделают восприятие, слухи и жажда толпы увидеть в ком-то виновного. В современном мире, где информация распространяется быстрее мысли, а границы между фактом и мнением почти стерты, достаточно намёка, достаточно подозрения, чтобы обвинение стало реальностью для окружающих.

Пресса и социальные сети становятся в этом процессе не просто передатчиками информации, а ареной, где разворачивается новый тип суда — суд без доказательств, без права на защиту, без слушания обеих сторон. Заголовок, построенный вопросом, уже содержит обвинение: «Почему он скрыл...?», «Неужели она причастна...?», «Что стоит за её молчанием?». Вопрос не требует ответа, потому что сам формат подсказывает: если спрашивают — значит, есть основания подозревать. Люди редко вчитываясь в детали, чаще всего достаточно беглого взгляда на первые строчки, достаточно случайно увиденного заголовка, чтобы сложилось впечатление.

В социальных сетях этот процесс ускоряется и упрощается до предела. Здесь каждое мнение, высказанное с уверенностью, воспринимается как правда. Достаточно одного поста, одной обвиняющей формулировки, чтобы началось лавинообразное повторение, где каждый следующий участник, делясь публикацией, укрепляет общее впечатление: раз говорят многие — значит, так и есть. Лайки и репосты становятся заменой судебного решения, а комментарии — формой публичной казни. Особую роль играет коллективный эффект: люди склонны верить тому, что звучит массово и убедительно, даже если это лишено фактической основы.

Сам механизм построен на свойствах человеческого восприятия. Подозрение всегда интереснее оправдания,

обвинение всегда звучит громче оправдательного слова. Там, где информация подтверждена доказательствами, она требует внимания, требует вникания, требует усилия понять. Обвинение без доказательств освобождает от необходимости думать. Оно даёт удобное объяснение, моментально рисует картину, где есть зло и есть виновный. Именно это упрощённое деление на чёрное и белое делает обвинение столь легко тиражируемым.

Медиа, работая на интерес аудитории, не преследуют цели разобраться — их задача удержать внимание. Скандал продаётся лучше, чем скучное оправдание. Поэтому даже после опровержений первоначальное обвинение продолжает жить, подпитываемое тем, что люди запоминают первую волну, но редко следят за развитием истории. Извинения, опубликованные потом, звучат тише, чем первый крик. В итоге оказывается, что доказательства вовсе не нужны, достаточно правильно расставленных акцентов, грамотно выбранного момента, удачно сформулированного намёка.

Именно в этой атмосфере любая личность оказывается беззащитной перед произвольным обвинением, потому что отрицать нечто, что не подтверждено никакими фактами, так же бесполезно, как пытаться доказать, что не был на Луне, если тысячи голосов уже повторили обратное. Сама попытка оправдаться только усиливает подозрения: если защищается так яростно — значит, есть что скрывать. В этом механизме обвинение становится не актом поиска истины, а оружием, не требующим ни усилий, ни ответственности.

История человечества во многом складывается как бесконечная череда поисков виноватых, будто сама необходимость объяснить происходящее требует непременно указать на кого-то, кто должен ответить за бедствия, страдания, неудачи и страх. От древних гонений на ведьм до современных политических процессов, от охоты за еретиками до кампаний против врагов народа — каждый такой эпизод становится частью одного и того же сценария, где вместо разбора причин выбирается жертва, вместо анализа — обвинение, вместо размышления — клеймо.

Образ ведьмы, шпиона, предателя, внутреннего врага рождается не из доказанной вины, а из необходимости найти объяснение тому, что пугает, ранит, вызывает тревогу. Эти фигуры становятся воплощением всего того, что кажется неуправляемым, незнакомым, опасным. Их существование оправдывает страх толпы, позволяет сохранять привычную картину мира, в которой беда всегда приходит извне, в которой зло всегда имеет человеческое лицо, чётко очерченное и доступное для уничтожения.

Массовое обвинение несёт в себе удобство коллективного самооправдания. Оно устраниет вопрос о собственной роли, о личной ответственности, о том, какое участие каждый имел в происходящем. Проще поверить, что виноват определённый круг лиц, нежели признать сложность причин или собственное участие в создании условий, ведущих к катастрофе. Здесь обвинение становится способом избавиться от необходимости честного взгляда на себя, превращается

в ширму, за которой прячется страх признать свою причастность.

Каждое массовое обвинение строится на упрощении картины мира: есть они — источник зла, и есть мы — чистые, пострадавшие, имеющие право судить. Это упрощение убивает возможность перемен, потому что направляет энергию не на осмысление происходящего, не на преодоление причин, но на уничтожение фигуры, назначеннной виновной. Пока существует потребность в таком разделении, свобода остаётся невозможной, потому что свобода требует зрелости, готовности признать, что беда не всегда исходит от другого, что ответственность чаще всего рассредоточена, размазана между всеми.

Истинное освобождение начинается там, где прекращается навязчивая попытка найти виновного, где вместо поиска внешнего врага появляется готовность задать вопрос о собственных решениях, поступках, о той доле участия, которую каждый несёт. Именно этот отказ искать удобную вину открывает путь к осознанию, делает возможным движение не по кругу обвинений, а вперёд, к пониманию и изменению себя, а не только мира вокруг.

Когда власть строит свою устойчивость на образе врага, когда её сила питается постоянным воспроизведством страха, общество постепенно перестаёт быть

сообществом людей и превращается в толпу, разделённую подозрениями, готовую в любой момент отвернуться, настороженно всматриваясь друг в друга в поисках признаков предательства. Там, где страх становится главным инструментом управления, обвинение перестаёт быть исключительным случаем нарушения закона и превращается в повседневную практику, в ритм политической жизни, в способ удерживать порядок через постоянную угрозу. В этом механизме враг всегда где-то рядом, всегда среди своих, всегда под маской знакомого лица, что требует от каждого бдительности, подозрительности, готовности отвернуться первым, чтобы не оказаться в ряду обвинённых.

Презумпция вины становится здесь не просто юридическим извращением, но ключевым политическим приёмом, позволяющим держать людей в состоянии неопределённости и страха. Если каждый может быть признан виновным по умолчанию, если оправдание — это не право, а почти невозможная задача, тогда любое несогласие превращается в риск, любое слово становится потенциальным свидетельством против самого себя. Власть, использующая такой принцип, не нуждается в прямом насилии ежедневно — достаточно самой угрозы обвинения, чтобы подчинение воспроизводилось добровольно.

Такая система не просто нарушает права, она разрушает саму идею доверия между людьми, стирает границы между преступлением и инакомыслием, подменяет право на защиту обязанностью доказывать свою

лояльность. Страх быть обвинённым становится средством дрессировки общества, где подозрение превращается в форму политического поведения, а молчание — в самую безопасную стратегию выживания.

По-настоящему свободное общество начинается там, где разрушается этот автоматизм обвинения, где исчезает привычка видеть в другом потенциального врага, где государство не поощряет доносы, а защищает от них. Свобода невозможна там, где государство само раздаёт ярлыки, назначает виновных по признаку неудобства, происхождения, взглядов или подозрений. Государственная система, если она действительно служит людям, должна быть преградой на пути обвинительного насилия, должна стоять между толпой и тем, кого хотят линчевать, не позволяя превращать правосудие в продолжение страха.

Политика обвинения всегда опирается на желание лишить человека права быть услышанным. Она делает молчание безопаснее, чем речь, пассивность — выгоднее, чем попытку изменить. Там, где обвинение становится средством политики, свобода отступает, оставляя после себя только декорации закона, за которыми скрывается произвол. Разрушить эту систему возможно лишь начав с отказа участвовать в её ритуалах, с отказа подыгрывать обвинительным рефлексам, с возвращения праву его первоначального смысла — защиты, а не расправы.

Любовь не питается поиском виноватого, не нуждается в том, чтобы определить, кто прав, а кто ошибся. Она не строит отношений на счёте долгов и не измеряет близость весами правосудия. Её движение направлено не к разоблачению, а к сохранению, к попытке увидеть в человеке не совершённое им, а то, кем он может быть, кем остаётся за пределами поступков. Там, где начинается стремление судить, любовь постепенно угасает, уступая место подозрительности, обидам, отчуждённости. Любовь смотрит не на ошибку, а на боль, из которой эта ошибка могла вырасти, ищет не виновного, а того, кто нуждается в спасении.

Доверие не слепо, не закрывает глаза на реальность, но отказывается подменять понимание поспешными суждениями. Оно не означает безразличия или отказа видеть поступки, но требует остановить первый порыв обвинить, давая место для объяснения, для честного разговора, для того, чтобы услышать не только то, что видно снаружи. Доверие — это выбор не судить прежде, чем появится желание понять, не закрыть дверь прежде, чем будет дана возможность сказать правду.

Прощение не живёт там, где ярлык «виновен» уже стал приговором. Простить — значит не оправдать и не забыть, но сохранить пространство, в котором другой остаётся человеком, а не только носителем своей ошибки. Это возможно лишь тогда, когда отказано себе в искушении окончательно определить другого через один поступок, через одну слабость. Освобождение начинается с того, что вина не становится единственным именем человека.

Именно это различие решает, возможна ли перемена. Тот, кого не осудили, сохраняет право быть другим, право измениться, осознать, пересмотреть свои действия не под давлением клейма, а из внутренней готовности. Суд лишает этого шанса, потому что делает перемену бессмысленной: осуждённый не может избавиться от ярлыка, какими бы ни были его усилия. И часто в ответ на осуждение возникает не покаяние, а затаённая злоба, желание вернуть боль тем, кто её нанёс, пусть даже под видом справедливости. Осуждённый превращается в обвинителя, если не за прежнее, то хотя бы за сам факт того, что был осуждён.

Там, где действует суд над человеком, а не над поступком, отношения становятся полем взаимных обвинений. Каждый шаг, каждое слово окрашивается в подозрение, и разорвать этот круг становится почти невозможно. Но там, где сохраняется выбор не судить, где остаётся пространство для доверия и любви, открывается возможность не только прощать, но и изменяться — не под страхом наказания, а ради сохранения того, что дороже спора о правоте.

Там, где исчезает суд как способ определить, кто достоин порицания, исчезает и сама категория вины, теряющая своё привычное место в структуре мышления. Вина не существует сама по себе — она требует судьи, требует внешнего взгляда, который решает, кем является человек на основании одного поступка. Без этого взгляда вина остаётся лишь событием, лишь фактом, не

превращаясь в клеймо, не становясь ярлыком, которым удобно заменять разговор, понимание, попытку услышать. Если убрать саму необходимость судить, если перестать искать, кого следует наказать, остаётся только вопрос: как не допустить вреда, как исцелить то, что было сломано, как помочь тому, кто причинил боль, чтобы он не сделал этого снова.

Место суда занимает забота о будущем, а не расправа за прошлое. Там, где не ставится задача приговорить, открывается возможность исправить, удержать, предотвратить. Исправление не требует обвинения, предотвращение не нуждается в ярлыке «виновен». Только привычка к мысли о вине заставляет снова и снова разыгрывать один и тот же спектакль, где действующие лица навечно закреплены в своих ролях: одни — нарушители, другие — потерпевшие, трети — судьи. Но этот спектакль не даёт выхода, он не меняет ни тех, ни других, он лишь закрепляет их в вечном повторении.

Освобождая другого от образа виновного, исчезает и собственная потребность быть судьёй. Вместо напряжения постоянного различия между правыми и виноватыми появляется возможность быть рядом не с позиций превосходства, а с позиций участия, готовности понять, помочь, удержать от нового шага в ту же пропасть. Ведь суд не только лишает другого права измениться, но и самого судящего делает пленником своей роли. Оправдывая своё осуждение, приходится постоянно поддерживать в себе злость, дистанцию, холод, чтобы не увидеть в том, кого названо виновным,

просто человека.

Не судить — значит открыть путь любви, прощению, свободе, потому что все три невозможны там, где вина остаётся главной категорией мышления. Прощать — не значит оправдывать. Любить — не значит закрывать глаза на боль. Но и прощение, и любовь требуют отказаться от привычки определять человека через ошибку. Вина — это не естественное чувство, это социальная конструкция, выдумка, помогающая избежать труда видеть в другом сложность, боль, страх, сомнение. Она удобна тем, что избавляет от необходимости понять. Проще сказать: виновен, чем спросить: как так вышло? Проще назначить преступником, чем искать, что сломало, что привело к этому.

Устранив вину как категорию мышления — значит перестать искать оправдание своей неспособности любить. Значит отказаться от старого языка, где единственным ответом на ошибку остается суд, где любое отклонение от ожиданий требует не обсуждения, а наказания. Там, где нет вины, начинается пространство не оправданий, а перемен, не страха, а честности, не клейма, а движения к тому, чтобы не повторять боль, не умножать зло, не закреплять чужую ошибку в качестве единственной его судьбы.

Приглашаю вас ознакомиться с моей статьей "Beyond guilt: Rethinking justice, responsibility, and human relations without accusation" (За пределами вины: Переосмысление

справедливости, ответственности и человеческих отношений без обвинений), опубликованной в журнале The Common Sense World. В этой работе я предлагаю философский, психологический и эволюционный анализ понятия вины как социального конструкта и делаюсь видением новой этики, основанной не на обвинении, а на взаимопонимании и ответственности. Буду рад вашему вниманию к моей статье, в которой обсуждаются возможности переосмыслиения привычных подходов к справедливости и человеческим отношениям.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Arendt, H. (1951). *The origins of totalitarianism*. New York, NY: Harcourt, Brace & Company.
- Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. *Personality and Social Psychology Review*, 3(3), 193–209.
- Boehm, C. (1999). *Hierarchy in the forest: The evolution of egalitarian behavior*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison* (A. Sheridan, Trans.). New York, NY: Pantheon Books. (Original work published 1975)
- Gilbert, P. (2009). *The compassionate mind: A new approach to life's challenges*. London, UK: Constable & Robinson.
- Girard, R. (1977). *Violence and the sacred* (P. Gregory, Trans.). Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press. (Original work published 1972)
- Herman, J. L. (1997). *Trauma and recovery: The aftermath of violence–from domestic abuse to political terror*. New York, NY: Basic Books.
- Hrdy, S. B. (2009). *Mothers and others: The evolutionary origins of*

- mutual understanding. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux.
- Kelley, H. H. (1967). Attribution theory in social psychology. In D. Levine (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation (Vol. 15, pp. 192–238). Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
- Kriger, B., Kulnevskaya, O., (2020). Разочарование в правосудии. Altaspera Publishing.
- Kriger, B. (2025). Beyond guilt: Rethinking justice, responsibility, and human relations without accusation. The Common Sense World.
- Marwick, A., & Lewis, R. (2017). Media manipulation and disinformation online. New York, NY: Data & Society Research Institute.
- McGuire, W. J. (1964). Inducing resistance to persuasion: Some contemporary approaches. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 1, pp. 191–229). New York, NY: Academic Press.
- Nietzsche, F. (1994). On the genealogy of morality (C. Diethe, Trans.; K. Ansell-Pearson, Ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press. (Original work published 1887)
- Rosenberg, M. B. (2003). Nonviolent communication: A language of life (2nd ed.). Encinitas, CA: PuddleDancer Press.
- Scheff, T. J. (2000). Shame and the social bond: A sociological theory. *Sociological Theory*, 18(1), 84–99.
- Sontag, S. (2003). Regarding the pain of others. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux.
- Tangney, J. P., & Dearing, R. L. (2002). Shame and guilt. New York, NY: The Guilford Press.
- Tufekci, Z. (2017). Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest. New Haven, CT: Yale University Press.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151.

Williams, B. (1993). Shame and necessity. Berkeley, CA: University of California Press.

Zehr, H. (2002). The little book of restorative justice. Intercourse, PA: Good Books.